

ТАТЬЯНА  
ПЛЕТНЕВА



ПУНКТ  
ТРЕТИЙ

СЕРИЯ  
«НЕПРОШЕДШЕЕ  
ВРЕМЯ»

Непрошедшее время

Татьяна Плетнева

**Пункт третий**

«WebKniga»

2020

## **Плетнева Т.**

Пункт третий / Т. Плетнева — «WebKniga»,  
2020 — (Непрошедшее время)

ISBN 978-5-9691-1966-6

1982 год. Сотрудники КГБ во время обыска конфискуют роман Александры Юрьевны Полежаевой, в котором рассказывается история диссидента Рылевского, отбывшего срок за размножение и распространение запрещенного тогда «Архипелага ГУЛАГ». В одном из персонажей романа читающий его майор КГБ узнает самого себя; его пугает, что ему отведена роль двойного агента и что не только он один может увидеть свое сходство с героем романа Первушиным. Чтобы отвести от себя возможные подозрения, ему необходимо уничтожить роман раньше, чем его прочтет кто-либо из коллег. В ходе обыска найден документ, позволяющий арестовать Александру Юрьевну, Рылевского и их друзей. Отправив своих подчиненных конвоировать арестованных, майор сжигает роман. Роман, который мы читаем вместе с майором КГБ Первушиным, состоит из пяти глав, каждая из которых соответствует одному дню. Истории персонажей – от диссидентов до гэбистов и сотрудников лагеря – переплетаются. Александра Юрьевна старается в каждом увидеть человека и понять его позицию. География романа – Москва, Ленинград и лагерь на Урале; хронология – 1979–1981. Роман воссоздает атмосферу советской жизни этого периода – от диссидентской кухни до лагерного барака.

ISBN 978-5-9691-1966-6

© Плетнева Т., 2020

© WebKniga, 2020

## Содержание

Виктор Шендерович. Хроника нетекущих событий	7
Глава 1	9
19 декабря 1979 года	9
Утро	9
День	13
Сиеста	19
Вечер	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Татьяна Плетнева

## Пункт третий

*Художественное электронное издание*

Издательство благодарит Фонд А. И. Солженицына за помощь в издании этой книги

Художественное оформление ВАЛЕРИЙ КАЛНЫНЬШ

В оформлении переплета использован рисунок МАРИИ ВОЛОХОНСКОЙ

© Т. И. Плетнева, 2020

© В. А. Шендерович, сопроводит. статья, 2020

© «Время», 2020

\* \* \*

*...И, по причине умножения беззакония, во многих охладает  
любовь...*

**Мф: 24,12**

## Виктор Шендерович. Хроника нетекущих событий

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Почти сорок лет назад, в начале восьмидесятых, неприкаянный юноша, заметно поврежденный службой в ЗабВО им. Ленина, я, как большая собака в угол, любил забиться в подмосковный поселок Востряково, на дачу к моему другу Юре Льву. Там был свежий воздух и ночлег на чердаке, был мангал – и были люди...

А дача-то была не Юркина, а его тестя – профессорская была дача!

Профессора звали Давид Гольдфарб, и был он знаменитый генетик и не менее знаменитый отказник<sup>1</sup>. Публика в Востряково собиралась соответствующая...

Там-то я и увидел вблизи диссидентов.

Наступали андроповские времена. Кто-то из гостивших на даче только вышел на свободу, кто-то шел на посадку – по христианским делам, за самиздат, за «Хронику текущих событий». Меня неприятно поразило, какие они все симпатичные люди. Там, на Юркином чердаке, с некоторым запозданием, я проглотил за пару ночей «Архипелаг ГУЛАГ», там читал ардисовского Бродского и что-то «посевное». На даче профессора Гольдфарба я и увидел Таню Плетневу.

Таня была христианкой, и в некотором смысле – первой христианкой. Первой, которую я увидел своими глазами. Она писала стихи о волхвах и звезде, а я не твердо понимал, о чем это вообще (я был вполне советский юноша). Стихи мне не понравились. Работала Таня уборщицей, и это тоже казалось мне странным.

Странным был я сам, совмещавший любовь к Окуджаве с уважением к Ильичу.

А Таня, моя ровесница, выпускница Московского геологоразведочного института, в 1981 году отказалась сдавать госэкзамен по научному коммунизму и, как говорится, вышла вон. К этому времени она участвовала в правозащитном движении, помогала политзаключенным. В 1983 году вышла замуж за осужденного по 70-й статье Льва Волохонского, и брак был зарегистрирован в СИЗО КГБ г. Ленинграда, в том самом проклятом доме на Литейном, где перед расстрелом сидел Гумилев...

С середины восьмидесятых Таня жила на даче профессора Гольдфарба каждое лето. В начале перестройки вышел из лагеря Волохонский (его я тоже помню краешком памяти), потом из «совка» выпустили наконец самого профессора...

Давида Гольдфарба встречал в аэропорту Рональд Рейган. А профессорская дача в Востряково, приют симпатичной диссиды, была теперь обречена на возвращение в руки государства рабочих и крестьян...

В последний раз я видел Татьяну Плетневу весной 1990 года – Юра Лев и Оля Гольдфарб уезжали в Америку, и мы прощались с ними, думая, что прощаемся навсегда.

Спустя десять лет, уже совсем в другие времена, Юра переслал мне роман Плетневой «Пункт третий» с просьбой кому-нибудь показать. И я показал, сам, к стыду своему, в диком цейтноте телевизионной жизни, лишь пробежав текст глазами. В модном московском издательстве печатать роман отказались, о чем я с чистой совестью сообщил моему другу.

Прошло еще почти двадцать лет, и Юра снова прислал мне роман – его вторую редакцию, с прежним предложением: показать издателям. И я ахнул, впервые погрузившись в эти страницы. Это оказалась настоящая, подлинная, мощная книга. Тот самый «кусочек горячей дымящейся совести», о котором писал Пастернак...

---

<sup>1</sup> Тем, кому показалось, что они знают эту фамилию, не показалось. Диссидент Александр Гольдфарб – сын того профессора. – В. Ш.

Вы будете читать этот роман не из уважения к биографии автора. Вас затянет в хронику давно не текущих событий, написанную с таким отчаянием, какое дается только подлинным опытом, и с таким знанием людей, какое дано только большому писателю. Должен предупредить: литературное мастерство Татьяны Плетневой заденет многих профессионалов. Персонажи ее книги – абсолютно живые, и даже самые страшные из них написаны словно изнутри. Редчайший дар писательской эмпатии! Пластичный язык и точность деталей дают сильный эффект присутствия: у читателя «Пункта третьего» есть шанс прожить на всю катушку то, что, по счастью, его миновало...

Этот роман – о давно прошедшем времени, но время в России движется кругами, и, хотя красное знамя сменилось триколором, а Христа тут теперь вколачивают в головы с той же силой, с какой раньше вколачивали Ленина, все это лишь декорация унылого русского ужаса. Никуда не делся капитан Васин, тут как тут и лейтенант Первушин, и шныри, и автозаки... Все это – здешняя константа, похоже, как и безнадежная маргинальность тех, кто ценою своей судьбы готов встать на пути русского молоха. И авторские примечания об обычаях лагерной жизни, разбросанные по страницам романа, смотрятся вдруг памяткой на будущее...

А еще этот роман – о любви, потому что о чем еще может быть роман, как не о любви и не о смерти? А еще – он густо насыщен поэзией, от ахматовской до самиздатской, и это обстоятельство подтолкнуло меня, спустя десятилетия, снова заглянуть в стихи самой Татьяны Плетневой и снова ахнуть.

...Только небо и ветер в ветвях над рекой – хороши,  
Да у низких домов, где крест-накрест заклеены стекла,  
Будто нынче война – чуть заметно колыхнется жизнь,  
Как белье на веревке, что за ночь почти не просохло...

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Один из них – о романе Татьяны Плетневой «Пункт третий» и о ней самой, которая приходит сегодня в русскую литературу с запозданием в двадцать лет.

Ужас, конечно, но, как говорится в том анекдоте, не «ужас-ужас». Если примерить к местным срокам, от Радищева до Замятина, – так это вообще ни о чем. Подумаешь, двадцать лет!

## Глава 1

19 декабря 1979 года

Утро

1

Виктор Иванович Васин, капитан и РОР<sup>2</sup> одной из уральских зон, всю ночь мерз. Накануне от него ушла жена, сбежала, как в кино, с заезжим собаководом.

Не прожив и недели в Четвертинке, собачий инструктор позабыл про собак и прилип к васинской бабе. В клубе были танцы, в кино крутили что-то про любовь, и весь поселок обмирал, следя за их романом. Виктор Иванович тяжело страдал запоями. Последний из них как раз и пришелся на Надькин загул и сильно эту историю продвинул.

Жизнь научила капитана функционировать, не прерывая питания: он появлялся там, где надо и когда надо, но действовал машинально, совершенно не въезжая в происходящее. К концу первой запойной недели равно неинтересны становились ему жена Надька, начальник зоны Ключиков и штабной кот Фофан; со всеми общался он одинаково: безучастно-вежливо.

В штабе привыкли к Васину и во время запоев почти не приставали, старались не заглядывать даже в рорский кабинет, где Виктор Иванович тянул свой рабочий день: дремал, курил и подбавлял потихоньку, по мере надобности.

Поселок Четвертинка представлял собою нечто, расположенное в буквальном смысле вдоль и поперек зоны.

Вдоль длинной стороны зонного четырехугольника стояли в ряд простые деревенские избы, и от внешнего забора зоны, украшенного колючкой и всем, чем положено, их отделяла только разбитая ухабистая грунтовка. На углу зоны грунтовку пересекало шоссе; по одну сторону его тянулся все тот же забор с колючкой, с другой стороны в беспорядке вихлялись серые двух- и трехэтажки недавней постройки. Строили их из чего-то такого, что летом раскалялось и гадко пахло, зимой же промерзало насквозь. Жить в таком доме можно было только с бабой; холостые умники, употреблявшие камин или электрогрелку, все равно мерзли – по ночам в поселке часто не бывало электричества.

Капитан Васин проснулся по будильнику, без четверти шесть, чумной, похмельный и замерзший. Ночной холод неожиданно вытрезвил его, довел, сука, почти до ясного ума. И этим не вовремя прорезавшимся умом с мерзлой задницей вкупе ощущал Виктор Иванович какую-то невосполнимую потерю, сквозную брешь в своей и без того невеселой капитанской жизни, и очень не хотелось просыпаться окончательно, чтоб ненароком не понять какую.

Заснуть же снова было невозможно по причине холода. За окном ворочалась тьма с метелью, в меру разбавленная зонным заревом, – от васинского дома до забора с колючкой было шагов сто, не больше. Ровно в шесть в зоне прекратились гул, звяканье и крики, умолкла стройка – ночная смена кончилась, и в наступившей тишине поехали вдруг звонки в дверь –

---

<sup>2</sup> РОРом или режимом в просторечии называется заместитель начальника колонии по РОР – режимно-оперативной работе. – *Здесь и далее примеч. автора.*

длинные, короткие, штук десять подряд. Совершенно больной и несчастный капитан потащился открывать. Пол как палуба уходил из-под ног, гулял вверх-вниз и вправо-влево. В темном закутке перед дверью шторм утих; найти на ощупь дверную задвижку Васин не смог, но зато сразу нашарил выключатель и включил свет. Лучше бы он этого не делал, потому что немедленно обозначилось отсутствие Надькиного шмотья в прихожей: шубы ее не было, сапог, сумки – всего, что, как выяснилось теперь, эту прихожую наполняло. А была на вешалке только его собственная шинель, висела она сиротливо, и пустая вешалка скалилась ему в лицо. А сверху грустно поблескивала его же фуражка. И всё.

Виктор Иванович не успел ни заплакать, ни заматериться, потому что в дверь опять зазвонили, застучали, завопили тонким, совсем не Надькиным голосом.

Поддерживая левой рукою правую, как при стрельбе, капитан сосредоточился и открыл; из-за двери надвинулась на него большая, в цветастом халате баба, жена его кореша и соседа, старшего лейтенанта Волкова.

Волчиха вплыла в коридор, молча обошла Виктора Ивановича и враз заполнила собою кухню.

– Ты вот что, Вить, – сказала она, когда капитан уже пристраивался к яичнице с чаем, – ты бы побрился, а то, Волк мой говорил, сегодня там у вас с Перми начальник будет.

Приняв водки с рассолом, Виктор Иванович попробовал побриться – не в ванной, а за столом, перед Надькиным зеркалом. Волчиха нависала сбоку, ловко заклеивала порезы клочками мокрой газеты, говорила без умолку, кто и что думает в поселке о Надькином побеге.

Из зеркала на Васина тоскливо глядел тощий, с запухшими глазами серо-зеленый мужичонка.

Волчиха провожала его обстоятельно и даже всплакнула, подавая шинель в коридоре.

– Надька-то, Надька твоя – сука и есть, а ты приходи к нам вечером, я пива возьму, – повторяла она, и Васин вдруг подумал, что эта вот толстая своего Волка нипочем не бросит, и сам чуть не расплакался от тоски и обиды.

На воздухе стало легче, качка и тошнота прошли, сработали, видно, и чай, и рассол, и Волчихин завтрак.

Небо расчищалось, перло в мороз, но звезды заглушены были светом прожекторов, как всегда.

Ровно в семь капитан Васин миновал вахту и приступил к работе.

## 2

– Поднямайсь, поднямайсь, в пязду!.. Ня то счас Поднямайло придет, е...й в рот!.. – орал заспанный шнырь<sup>3</sup>, стоя посреди секции<sup>4</sup>.

«Напрасно господин Миттеран делает такие опрометчивые заявления», – спокойно отвечало ему радио из коридора.

Игорь Львович Рылевский открыл глаза и с ходу высказал искренние, но однообразные пожелания шнырю Колыме и господину Миттерану.

Печка погасла ночью, барак выстыл; эки долеживали в условном тепле последние минуты перед началом дня.

Прошагала под шконкой барачная мышь, звеня коготками по холодному крашеному полу, и Игорь Львович, не вовремя опустивший ноги, дослал ее туда, где уже находились дневальный Колыма и премьер Франции.

---

<sup>3</sup> Шнырь – дневальный, то есть ээк, отвечающий за состояние секции.

<sup>4</sup> Секция – часть барака.

Обычный утренний озноб; плывущая под кожей тоска, что не дает проснуться по-настоящему и принять день на грудь. Засыпая, Рылевский обещал себе начать утро с молитвы, а начал вот – с мата; одевался он долго, сучьи валенки не высохли за ночь. Натягивая их, Игорь Львович начал медленно читать «Отче наш», но лишь об оставлении долгов успел – погнали на проверку. И про искушение и про лукавого дочитывал он на ходу. Искушение здесь одно: дать волю своему гневу; вот по этому столу, липкому, тошнотному, снизу ногой вмазать, чтоб миски веером разлетелись; а потом первому же, кто встрянет, об этот стол морду разбить, да и второму, и всем, кто рядом чавкает. В очередь, сукины дети, в очередь.

...С утра вы особенно благочестивы, Игорь Львович, особенно с утра. Взять пайку хлеба насущного да и дергать отсюда в барак. И сахару прихватить – тоже насущно, авось там Пехов горячего уже заварил. Поздравляю вас, Игорь Львович, помолившись. Конгратьюлейшн.

Писем, писем уже месяц как не отдают, суки, и чем их достать – непостижимо.

– Игорь Львович, чаю, – приветствовал его, учтиво приподнявшись со шконки, Анатолий Иванович Пехов, сухой, похожий на молодого волка брянский домушник.

– Благодарю, а успеем? – засомневался Рылевский.

Они сидели рядом, гоняя из рук в руки горячую кружку; после каждого глотка Рылевский поджимал губы и заводил глаза к потолку. Станным образом были они похожи – смуглые, тощие, с одинаковыми морщинами у рта и глаз, напряженные, готовые к прыжку звери, – похожи и не похожи одновременно: приземистый, ширококостный политик и стройный, легкий, как мальчик, вор.

– А если и сегодня не отдаст, – спокойно говорил Пехов, продолжая давний разговор, – придется за долги поучить маленько.

Печь уже растопили, и секция постепенно нагревалась.

– Да, за долги, – расслабленно кивал Игорь Львович. В тепле клонило в сон, и бодрости от чая не было никакой – тошнота только да звон в голове. – За долги – придется, – повторил Рылевский, не вникая.

– Развод! – закричали в коридоре.

### 3

Больше всего на свете кислородчик Прохор Давидович Фейгель не любил вставать рано. Впрочем, поздно вставать он тоже не любил; вообще его способность к длительному и глубокому сну удивляла многих.

Проснувшись, Прохор Давидович обыкновенно закуривал и долго лежал, замирая от страха и слабости, когда нет никаких сил встать, а пробудившаяся прежде тела память уже сообщает, что все пропало – проспано окончательно и бесповоротно, но не уточняет что.

Сегодня, однако, волноваться не приходилось: будильник показывал безобидное 8:10, а за окном еще стояла неглубокая темнота, и ясно было, что вот-вот она начнет синеть и рассеиваться. Прохор потушил папиросу об угол кровати и уже собирался отплывать обратно в сон, как вдруг в коридоре занял телефон – мерзко, тревожно, неотменимо.

Пришлось встать – попусту в такое время ему не звонили. Кислородная служба многому научила Фейгеля: например, проснувшись от звонка этак на треть, он умел отвечать самым что ни на есть бодрым и ясным голосом.

– Але, здравствуйте, – сказал он.

«Р» у Прохора был роскошный – раскатистый, картавый, твердый и мягкий одновременно.

– Здравствуйте, здравствуйте, – передразнила трубка.

Фейгель спал стоя, прислонившись к стене; ноги переминались отдельно от него, где-то там, вдалеке, на холодном полу коридора. Трубка, однако, его перехитрила.

– А теперь – проснись на минуту, запиши и спи дальше, встанешь – прочтешь.

Фейгель послушно сыскал ручку с клочком бумаги, записал, что просили, и действительно проснулся.

А записал он вот что: сегодня в 10:30 в УКГБ к такому-то следователю вызывают свидетельницу Полежаеву, и адрес.

– Ты отзвонись сразу, как выйдешь. С Богом, – серьезно напутствовал свидетельницу Фейгель.

– Да я так, на всякий случай, думаю – ерунда, – сказала она и дала отбой.

Прохор прошлепал к кровати – досыпать, как и было велено. Совесть не возражала – напротив, сон его стал теперь дежурством у телефона.

Коридорный сквозняк поднял бумажку со стула, повертел ее по полу и швырнул в угол, на кучу грязных ботинок.

#### 4

Валентин Николаевич Первушин, лейтенант КГБ, поднимался тоже с большим трудом. И хотя время его подъема – 9:00 – большинству соотечественников показалось бы санаторным, Валентин Николаевич всей душой ненавидел даже само расположение стрелок на циферблате – будто регулировщик отмахивал – налево, налево – наезжавшему на горло дню.

Беда Первушина была в том, что он никак не мог расстаться со своей первой профессией; выродившись теперь в хобби, она сильно портила ему жизнь.

Валентин Николаевич обожал переводить – медленно, в свое удовольствие, забросав словарями стол под низкой уютной лампой, – выцеживать смысл из чужого, старинного и вливать его в новую форму; русский язык был для этого дела весьма гош. Иногда, переводя, он почти видел, как это устроено: вот языки – два дерева, стоящих рядом; спускаемся вниз по одному стволу и дальше, под землю, туда, где переплелись корни, находим там нужный путь и начинаем подниматься – по корням другого, по стволу его – вверх, и вот, схватилось: сидим на нужной ветке, ровно напротив той, с которой начали спуск.

Валентин Николаевич не любил высоких мыслей и старался их не иметь, и тем слаще казался ему этот шаткий древесный образ.

А еще Первушин не любил вспоминать историю своего перемещения с филфака в органы; будничная была история, обычная. В комитете взят он был сперва в отдел по работе с иностранцами, а потом где-то на звено повыше что-то сломалось, и группу их распахали, куда Бог послал. Или не Бог. Его вот месяца три назад отрядили бороться с инакомыслием; экспертиза рукописей была теперь его специальность.

Несомненное понижение совсем не опечалило Первушина: у него оставались низкая лампа, переводы, покой вечерних трудов. И вообще – меньше ответственности, суеты: голова свежее.

Борьба же с инакомыслием казалась Первушину идиотизмом, кормушкой для самых тупых, ни к чему не способных коллег. Вот ведь что происходит: одни, вместо того чтобы найти нужную книжку, – а найти можно, право, в Москве-то уж точно, – и почитать вечерком, под лампой, – борются за какую-то там свободу слова, другие – ловят первых, сажают их, а стало быть, делают из них героев, почти святых; и когда третьи начинают защищать первых, эти неизменные вторые сажают и их, и так далее, до бесконечности, – система работает на саморасширение, штат управления растет – кормушка.

Три месяца объясняли ему специфику предстоящей работы, а совсем недавно ввели в состав следственной группы по делу N.

– Следователь Первушин, эксперт, – представил его кто-то кому-то вчера, и он с трудом удержался от смеха.

А теперь он брился, глядя в зеркало на заспанного эксперта Первушина. Сегодня ему велено сидеть вторым на допросах; тонкий психолог какой-то так порешил. Под эту психологию можно целый день прокемарить, не напрягаясь, мозги к вечеру приберечь.

И так сладка была эта мысль следователю Первушину, что обычная его утренняя апатия сползла с него быстро и без усилий.

Ровно в половине десятого Валентин Николаевич отправился на службу.

## День

### 1

Погода была мерзкая; на плечи плюхался мокрый снег; он же, перемешанный с грязью, веером вылетал из-под колес.

И только приоткроешь дверцу –  
День – мимо, день – сплошной транзит, –

сочинял Валентин Николаевич, продвигаясь по своему обычному утреннему пути. В такое время пешком выходило быстрее, чем на троллейбусе по забитому кольцу.

Строчки ворочались лениво: так, от нечего делать.

На повороте с кольца в переулочек встречная машина обильно окатила первушинские штаны и ботинки, и Валентин Николаевич быстро додумал четверостишие:

...Природа так созвучна сердцу –  
От них обоих нас мерзит, –

и остановился, соображая, стоит ли записать.

Райотдел КГБ помещался в приятном, желтеньком с белыми колоннами двухэтажном особняке в одном из тихих посольских переулочков.

Валентин Николаевич долго топтался у вешалки, отряхивая плащ; насквозь промокшие ботинки сменить было не на что.

– Что вы там возитесь, проходите скорее, – не слишком любезно обратился к нему капитан Бондаренко.

Кроме грузного рыжеусого Бондаренки в кабинете сидел еще какой-то плосколицый в штатском, со шрамами на нижней губе и подбородке.

Бондаренко представил их друг другу; плосколицый оказался майором и начальником оперативной группы<sup>5</sup> по делу N.

Майор внимательно осмотрел Первушина и обратился к Бондаренке:

– Поздравляю, Сергей Федорыч, – тон и манера говорить были под стать его роже, – поздравляю, это то, что надо – в очко, – и тут же он перекинулся на Первушина: – Вам, молодой человек, все детали Сергей Федорыч прояснит, а я так, в общем, наскоро. Посидите сегодня у него на допросах, вид у вас очень уж интеллигентный, вот вы и будете представлять лицо современного комитета, ясно? Книжку на колени положите, читаете будто исподтишка, очков не носите? нет? жалко, ну ладно, сойдет и так. А это вам.

---

<sup>5</sup> Оперативная группа занимается слежкой, прослушиванием разговоров, внедрением стукачей и т. д., вследствие чего имеет гораздо более точную и полную информацию о деле, а начальник оперативной группы является главной фигурой дела. Следственная группа, представителями которой в данном случае являются Бондаренко и Первушин, проводит допросы и оформляет следствие.

И неприятный майор кинул на стол стажерское удостоверение на имя В. И. Николаева, означенный Николаев учился на 5-м курсе юрфака.

– Сегодня у вас, Валентин Николаевич, дебют, – продолжал он. – Посмотрел бы я на вас с удовольствием, да некогда. Всё, приступайте. А, вот, чуть не забыл, это вам, реквизит.

И майор Рваная Губа вручил Первушину оксфордский роскошно изданный том Шекспира.

– Ту би ор нот ту би, Валентин Николаевич, – вот в чем вопрос. Ладно, гуд лак, – заключил майор и пошел к дверям.

Бондаренко потащился за ним – провожать.

Произношение у плоскорожего было превосходное, и Валентину Николаевичу стало не по себе: не просто хамство, а еще и жутью какой-то припахивает, не поймешь что.

Вскоре вернулся Бондаренко, закурил, спросил спокойно:

– Ну как тебе майор?

Первушин промолчал.

– Зае. л он меня, – неожиданно задушевно молвил Сергей Федорыч, и вдруг его понесло: – Комедию придумал, сука, а нам – ломать, ты послушай, слушай мой инструктаж, лейтенант, сейчас эта дура придет, Полежаева; показаний на нее – до хрена, хочешь – сегодня сажай, хочешь – так оставь, все пустое, ничего нового она не сделает, ни больше, ни меньше. Как вертится, так вертеться и станет, пока ее е. ря в зоне держат. – Бондаренко разошелся, размахивал руками и почти кричал: – Так нет же, надо, видишь, опять ее допрашивать. Зачем? О чем? Я, значит, допрашивать ее буду и грозить, а она, заметим, при этом или молчать станет, или с дерьмом меня мешать, а я буду представлять, понимаешь, рыло режима, – и тут ты, в уголке, с Шекспиром, зайчик такой испуганный. Что ты на самом деле представляешь, майор мне не докладывал. Ты на нее этак поглядываешь, с интересом, рассмеяться нечаянно можешь, если она удачно меня отбреет. Да, еще чай будешь предлагать, сигареты и пальто снять-надеть поможешь. И чтоб все естественно выглядело – так майор говорил. Ты все понял? – Сергей Федорыч задохнулся от возмущения. – И сдается мне – большие виды имеет на тебя майор, какие только – сказать не могу.

Первушин не переспрашивал; они посидели молча, Бондаренко курил раздраженно, Валентин Николаевич поглаживал глянцевый оксфордский супер – В. Шекспир улыбался сдержанно, с достоинством, но чуть простовато.

В дверь позвонили с улицы.

– Так, – сказал Сергей Федорыч, поднимаясь, – я – в кабинете, ты – открываешь, встречаешь, раздеваешь. Чай, сигареты – вот. Вопросов нет? Тогда вперед, Валентин Николаевич, – ваш выход.

## 2

Капитан Васин решил сразу врубиться в дело и отвлечься таким образом от тоски и личного горя, но быстро притомился и сник. В памяти вспыхивали и исчезали лица, разговоры, расклады, но как они связаны были между собою – бог весть.

Вот он дома, не добежал, а Надька над ним, кричит: «Черт запойный!» – визжит, тащит его в коридор, чтоб он, значит, ковра не портил; а вот Волк все толкует: надо собачника бить, потому что Надька – сука. Потом Ключиков, майор, толстый, краснощекий, сам выпить не упустит, – тоже что-то объясняет, приказывает – политика надо в оборот брать – политика на зону привезли, было дело, и что-то в связи с этим ему, Васину, поручили – что? зачем? И еще – разное.

И все это было совершенно невозможно соединить, связать; трясло, голова наливалась знакомой похмельной болью.

Но принять сейчас значило не похмелиться, а продолжить; положив голову на кипу бумаг, Виктор Иванович постарался представить себе обещанное Волчихой пиво, расслабился и вскорости закемарил.

Ему приснилась дорога под зоной, и по этой дороге собачник ведет к нему Надьку, и он, Васин, слышит, как чавкает грязь у них под ногами; собачник приближается, проваливаясь по колено, лицо у него растерянное и странное, и, подойдя, он кричит Васину – возьми, мол, – и тут Васин видит, что не Надьку ведет ему инструктор, а тащит на поводке собаку; собака упирается, волочитя по грязи лапами и задом, а голова у нее Надькина, завитая, и лицо – Надькино, вытянутое только и сплющенное с боков, как собачья морда,

И, чуть не вплотную подойдя, кричит ему собачник – бери, мол, – и спускает ее с поводка, а сам бежит прочь и все кричит: бери, бери! – и Васин бежит от нее в ужасе, собака – за ним, треплет и рвет уже ворот, а собачник издали все орет: тебе же, тебе, бери.

– Тебе принес, бери, да проснись же, хрен запойный, – приговаривал лейтенант Волков, жестоко расталкивая Виктора Ивановича.

Второе пробуждение капитана оказалось немногим приятнее первого. Волков подсел к нему вплотную и начал излагать быстро и напористо; его рассказом как раз таки и связывались обрывки памяти; выходило гадко.

Политика привезли под запой; местная ГБ в этом не рубит, а боится только Перми; указания – пустые: особый контроль и работа воспитательная, хрен тебе в рот.

Ну, толковище Ключ собирал, хотел политика повесить на РОРа, но Васин тогда просто не понял. Повесили на замполита Чернухина, засранца, а он умен оказался – вторую неделю в местной больничке лежит, закосил на сердце – не сифилис, не проверишь.

А сегодня Ключ уже узнал, что Васин просох вроде, и все дела по новой ему передает.

Виктор Иванович не спросил даже, отчего это Ключ так быстро сориентировался; подсказать начальству вовремя мог, ясное дело, только сам Волк.

Чтобы поскорее проехать этот скользкий момент, лейтенант шлепнул на стол здоровый сверток и сказал небрежно:

– Письма его тут все, за месяц.

– А что, у цензорши тоже сифилис? – вяло спросил Васин. Теперь ему придется перепроверять цензоршу на эти гребаные условности в тексте, пытаться хотя бы отчасти понять, что за человек, то есть чего ждать: побега, голодовки или чего другого. А стукачами политика, наверно, обложили и без него.

Самое неприятное Волк приберег напоследок:

– А еще, слышь, блатные вокруг него; ксиву<sup>6</sup> он на волю выкинул, что писем не отдаем. А родственники у него не хворые – жалоб понаписали, Пермь протряхнули, и сегодня, говорят, оттуда проверка будет. Так Ключ велел тебе письма просмотреть и до обеда еще политику отдать. А то потом не отмоешься.

Волк говорил торопливо и застенчиво.

– Пойду я, а то не успеешь. Всё, пойду.

Дело получалось неприятное, гнилое – только на запойного РОРа такое и вешать. Виктор Иванович, однако, даже обрадовался – тут уж не до бабы. И терять ему было нечего.

Личного дела Рылевского под рукой не оказалось, и Васин не стал тратить времени на поиски.

Для начала он рассортировал письма – от родственников, от друзей, – и при этом образовались две пухлые пачки от двух баб: московской и питерской. У московской почерк был разборчивей, и, пристрелявшись, Виктор Иванович с ходу одолел четыре забитых строка к строке клетчатых листа.

---

<sup>6</sup> Ксива – письмо, записка, сообщение.

Чтение было интересное. Капитан наскоро переписал к себе в блокнот несколько строчек, похожих на условности: чья-то болезнь, отъезд, название книги; но не в этом было дело. Очень много интересного об осужденном Рылевском узнал он из письма А. Ю. Полежаевой.

Виктор Иванович закурил и вытащил наугад письмо из ленинградской пачки.

У этой почерк был позакковыристей, последняя буква каждого слова западала, как бы приседая; но письмо было недлинным, Васин справился с ним быстрее, чем с первым, и без особых раздумий выписал то, что тянуло на условности здесь.

Выходило вот что: Рылевский сел весной, неженатым, имея ребенка от питерской, а от московской – обещание расписаться с ним немедленно, как только он сядет. Теперь же питерская вспоминала их осенний брак перед этапом, в тюрьме, а московская печалилась, что ее обещание осталось не востребованным, и, несмотря ни на что, обещала осужденному любовь и верность; до конца срока или до гроба – Васин не понял.

Ну прям роман. В московском письме были еще и стихи, такие вот, например:

Заиндевелая рука  
Обласкана щекой,  
И я качну издалека  
Твоей степи покой, –

и еще, и еще, и все про любовь, и эта дребедень скорее тронула, чем раздражила одинокого капитана.

Письма, конечно, попались удачные, и многое прояснилось, но и путаницы прибавилось. Зачем, например, заводить вторую бабу, если знаешь, что вот-вот сядешь. Для свиданок вроде бы и одной достаточно. Соревнование, что ли, им устраивать – кто больше чаю пришлет?

Васин попытался представить себе их обеих и вдруг понял, что и Рылевского-то толком вспомнить не может, хоть и видел его когда-то давно, принимал с этапа. Что-то ведь и тогда уже его, Васина, – насторожило? удивило? что?..

Нарвавшись на очередной запад памяти, капитан подал назад. До обеда оставалось часа два, и Виктор Иванович положил остальных писем не читать, а отписаться как-нибудь поскорей да покороче, отдать Ключу отчет и сразу же вызвать на беседу Рылевского; а проверку эту гребёную, прокурорскую, поди, еще часа три отогревать да кормить будут, как приедет.

Он вздохнул и уселся сочинять.

Вид из рорского кабинета был так себе, на предзонник; но от яркого морозного дня, от блестящего за окном снега, от шелчков круглой угловой печки комната казалась уютной и славной.

### 3

В полдень Фейгель проснулся от звонка, как и было задумано, но не сообразил, что за звонок, и рванул к телефону. Звонили же в дверь. Отпер он спросонья, сдуру, не спросив кто, и пожалел об этом незамедлительно.

Небольшой безвозрастный человечек вручил ему под расписку сразу две повестки: на сегодня в ГБ на пять вечера и на завтра в военкомат на десять утра.

Проход Давидович так охренел, что не спросил даже, работает ли этот дядя по совместительству в комитете и военкомате или они держат его на паях, специально для таких случаев, – и прилежно расписался, где просили.

Получив подписи, мужичок удалился с видимым облегчением, оставив Проходора один на один с таким вот ошеломляющим фактом.

«Так оно и бывает, – соображал Прохор, бессмысленно тусуясь по квартире; он закурил, налил воды в чайник и зажег газ. – Так всегда и бывает – думаешь, что ты еще сбоку, в сторонке, и вот жизнь подступает и говорит: нет, голубчик, не сбоку, а в яблочке».

Уговаривал Фейгель себя неудачно. От этих уговоров встала перед ним ясная картинка: большая на белом листе мишень – черные круги и яркое крупное яблочко; потом, от стрелка как бы, – совмещение мушки с мишенью и, от себя, – направленный точно в лоб маленький темный кружок дула.

Страх разошелся, поднялся, сбросил образы и вцепился в Прохора попросту, отшибая мозги.

Вообще-то, Прохор Давидович имел все основания печалиться и ужасаться: во-первых, он косил в свое время от Советской армии через психушку; теперь же этот широко применяемый в отечестве финт превращался в тиски – армия или принудление, без вариантов. Во-вторых, его семейная ситуация была в этом смысле нелегкой: брату оставалось полгода до призыва, и еще много всякого. Хоть откуда заезжай – не промахнешься.

Надо было с кем-то срочно поговорить, посоветоваться; Фейгель стал накручивать полжаевский номер и тут только вспомнил, что она на допросе и звонка от нее не было, а дело к часу: значит, свинтили. Он побежал в коридор за повесткой, которая, ясное дело, уже расточилась среди бумажек, набросанных под телефоном, – военкоматская лежала, гэбэшной не было. Чуть не плача, стал ее искать и нашел-таки минут через несколько в кармане рубашки.

Повестка была оформлена аккуратнейшим образом: Фейгеля вызывали свидетелем по делу N к следователю Бондаренко, на сегодня к 17:00. Еще с четверть часа метался Прохор Давидович, стараясь разыскать листок с утренней Сашкиной диктовкой – «Проснешься, перечтешь», – стоял этот листик перед глазами, клетчатый, с неровным краем, и не находился, хоть сдохни. Тут кончилось курево, Фейгель стал одеваться, чтоб добежать до ларька, и в левом своем ботинке нужную бумажку обнаружил, и еще полпачки папирос нашел в кармане куртки.

Номера дел совпадали, и это означало, что часа примерно через четыре ему придется заложить Сашку, – или психушка тире армия.

Фейгель сел на кровать, привалился спиной к стене и отплыл на новой волне страха. Он представил себе все разом: брата забрали в армию, и там, откуда не докричишься, выбивают показания – на всю компанию; или – до смерти напугали отца, до смерти – буквально: напугали, и тот умер; а вот и самого его бьют – то санитар в психушке, то сержант в части.

Прохор Давидович от юности своей – со шпаной рос и сам таким был – не забыл еще, как нездорово и страшно быть битым; всякого битья и насилия он вообще боялся каким-то отдельным, утробным страхом.

По-хорошему надо было встать и убраться, но искать что-либо в захлавленной квартире Прохору Давидовичу было слабо. Он подхватил лежавшую на поверхности «Хронику»<sup>7</sup>, выгреб из карманов записные книжки и отправился на кухню – жечь. Холодный чайник стоял подле зажженной горелки; Фейгель бросил часть «Хроники» в огонь и стал выдирать опасные страницы из записнушки. «Хроника» сделана была на папиросной бумаге и взялась хорошо – заполыхало до потолка, задымилась над плитой бельевая веревка, в форточку и под потолок полетели нежнейшие черные бабочки.

За этим интересным занятием и застал Прохора Давидовича спокойно вошедший в незапертую за нарочным дверь Борис Аркадьевич Усенко, верный друг в несчастье.

---

<sup>7</sup> «Хроника» («Хроника текущих событий») – самиздатский бюллетень, содержащий информацию об арестах, обысках и прочих нарушениях так называемых прав человека.

4

Они присмотрели эту хибару еще в ноябре, сразу по прибытии Рылевского. Дошатое строение размером в два-три дачных сортира быстро превратилось в жилье или, вернее, в нору для отсидки в рабочей зоне. Трудясь день за днем, они законопатили щели обтирочной ветошью, оклеили стены в три газетных слоя, поставили печь.

Анатолий Иванович был доволен: во-первых, Рылевский работал когда-то геологом, и печка получилась путёвая, с хорошей тягой, гудящая от самой малой охапки дров, а во-вторых, дружба с политиком радовала его сама по себе.

– Пофартило мне, Игорь Львович, что вас сюда привезли, – медленно, в сотый раз проговаривал Пехов, разбираясь с печкой. – Тут ведь блатных нет, пять лет – потолок, кто не дэт-эпэшник, тот бабу свою огулял ножом вместо хера, перепутал. Спросят, с кем сидел, и ответить-то было б стыдно, если б не вы.

Блатной всегда обращался к нему уважительно – на «вы» и по имени-отчеству.

Рылевский лежал на топчане с закрытыми глазами. Обычно топка была на нем, но сегодня с утра накатила мигрень, остро болело под веками, стягивало голову, долбило в виски.

В бендежке было полутемно, маленькое высоко врезанное окно давало немного света, но и этого было довольно, чтоб разглядеть грязь и развал внутри. Есть такие места: как ни скреби, ни мой – все будет цепляться глаз за сальные куски обтирки в стенах, за обрывки газетных обоев, за клочья ваты, что лезут из старого брошенного на топчан фофана<sup>8</sup>. Грязь имманентно присуца этой бендежке, да-с. Рылевский укутался, как мог, и отвернулся к стене.

– А политик, он против красных, значит, против ментов, значит, отрицалово<sup>9</sup>, не ниже парняги<sup>10</sup> будет, – гудел Анатолий Иванович, шуруя в печи; бока ее раскалились и сочно налились малиновым светом, ярким в полутьме бендежки.

Боль под веками усиливалась от каждого движения и звука, знобило все сильнее; даже сожрав весь воздух внутри, эта сучья печь не справлялась: мороз пер под тридцать. Игорь Львович маялся в душном полутепле, крутился на топчане, стараясь согреться.

«Вторую сварить надо было да туда вот воткнуть», – думал он, пропадая от боли.

Тем временем Пехов вытопил печь, закончил свой обычный рассказ о том, как радостно встретят его на воле, буде узнают, что сидел он с настоящим, против красных, политиком, и предложил перейти к делам насущным.

За условной перегородкой стоял саморубленный стол; несмотря на непереносимую почти боль, Игорь Львович перебрался туда и разложил нужные для перевода словари и тетради; во время его занятий блатной свято соблюдал тишину.

– «Здесь все вина янтарны», – перечел Рылевский и стал разбираться со следующей фразой: «Серая накипь дня... Серая тень, как накипь...»

Пехов подошел неслышно сзади и взял со стола стотысячник Мюллера. Некоторое время он стоял в раздумье, взвешивая на ладони словарь, потом извинился, положил его на место и вернулся к печке.

Рылевский рассеянно наблюдал за ним.

Из кучи дров Анатолий Иванович вытащил полено покрепче, взвесил его, как Мюллера, несколько раз на руке и начал укручивать в невероятного цвета бывшее вафельное полотенце.

...Серая тень лежит у стены, как накипь; тени на снегу бывают голубые, глубокие; хотя какие ж там к хренам у Джойса снега. А накипь действительно серая, крутится она в котле

---

<sup>8</sup> Фофан – ватная телогрейка.

<sup>9</sup> Отрицалово – ээк, отказывающийся подчиняться администрации тюрьмы или колонии.

<sup>10</sup> Парняга – ээк, придерживающийся правил поведения блатных.

с отвратительным серым же мясом; от джойсовской накипи поднималась тошнота, мигрень расходилась вовсю. Рылевский бросил голову на руки и прикрыл глаза.

В дверь постучали.

– Давно пора, – отозвался Пехов и достал из-за печки пару тапок с отодранными подошвами.

В ослепительно-белом дверном проеме возникла нелепая темная фигура.

Пехов кивнул гостю на низкий самодельный табурет подле печи, а сам сел напротив, придвинувшись почти вплотную.

– Принес? – спокойно спросил он, оглаживая полотенце на полене.

Зэк скорчился на табуретке, уткнув подбородок в колени.

– Ну, принес?

– Да не было там, – едва слышно ответил пришелец, – в правом – сотня, в левом – не было...

– Ксиву я сам видел, – тихо и строго заговорил блатной, помахивая изуродованными тапками перед самым носом ответчика. – Значит, или он врет, – Анатолий Иванович указал поленом на Рылевского, – или кореш его врет, или ты, падлю, врешь...

– Не было там, – безнадежно повторил должник.

Анатолий Иванович размахнулся и ударил его поленом по голове.

– А-а-а, – завыл тот, – не было там, хлебом клянусь, не было...

– Руки с головы прочь, – еще строже произнес Пехов, – так отдашь? – и ударил еще раз, посильней.

Зэк выл и корчился на полу, защищая голову руками, плечьями, коленями.

– Орать – брось, – приказал блатной, – видишь, человек занимается, – и, занося полено в третий раз, вежливо поинтересовался: – Мы не очень вам мешаем, Игорь Львович?

Рылевский полулежал, уткнувшись носом в словарь, голова болела нестерпимо, дело шло к рвоте; он не мог, не имел никакого права вмешаться.

...Здесь все вина янтарны.

Зэк на полу уже не орал, а жалобно скулил, забыв материться. В полутьме бендежки кровь на его лице казалась черной.

– Подумай до завтра, земляк, чего там – не было, – все так же спокойно сказал Пехов, помогая битому подняться.

Дверь открылась и вновь ослепила ярко-синим небесным и белым снежным сияньем.

– Завтра в зубах принесет, вот увидите, – умиротворенно сказал блатной; он распеленал полено и сунул полотенце в печь.

Рылевского потянуло на воздух.

Путь зэка легко прослеживался по ярким кровавым плевкам. Накипь времени лежала у стен – легкая, прозрачная, голубая, с редкими алыми пятнами, а само время подходило уже к обеду.

...Здесь все вина...

## Сиеста

### 1

Четвертинская столовая славилась на всю округу не потому, что задумана была как ментовская кормушка, а просто там работали бабы, которым нравилось кормить: варить, печь, жарить и подавать.

Виктор Иванович прибыл в столовую в начале третьего, когда народ уже схлынул. При виде тощего брошенного капитана женщины забежали и захлопотали так, будто Васин был не Васин, а президент республики Бангладеш. Виктор Иванович был окучен и согрет немедленно: пока он поедал рыжие наваристые щи, бабоньки налепили и сварили лично ему превосходных пельменей, а на третье поднесли компота с пирожками.

Во время запоя Васин ходил полуголодным – отчасти из-за Надькиного небрежения, отчасти же потому, что еда с питьем вместе в нем не держались, – и теперь нечаянно объелся, обмяк от обильного и вкусного обеда и задремал.

Третье пробуждение капитана вышло поприятнее прежних.

– Нанялся я, что ль, тебя сегодня будить, мать, – незлобно ворчал Волк. Бабы наблюдали за побудкой и предлагали Виктору Ивановичу умыться в служебке.

Он быстро очухался и спросил, нет ли еще надзорного.

– И не будет, – спокойно сообщил Волк, выводя капитана из столовой. – В обед уж тридцать семь было, к вечеру, значит, до пятидесяти дойдет: в такой мороз прокуроры дома пьют.

Солнышко подъезжало уже к еловым верхушкам: свет его густел, желтел и здорово мазал снег; до заката оставалось часа полтора. Отблескивали золотом окна домишек, обледенелая дорога и даже капитанские сапоги. Под ногами хрустело смачно и так громко, что разговаривать было трудно.

– А еще, слышь, – сказал Волк и остановился, чтоб не перекрикивать хруст, – еще свиданка была сегодня у этого, как его, из третьего отряда.

– Ну и хрен с ним, а нам-то что? – спросил Васин; стоять на месте было холодно.

– А нам – травки на халяву: баба – дура, чучмеки какие-то, так и несла, в открытую. У тебя курнуть-то можно?

В рорском кабинете было по-прежнему уютно, пахло вытопленной печкой, хорошо держалось тепло.

– Враз вытянет, как тогда, – шестерил Волк; видно было, что ему не терпится. Не то чтоб они подкуривали постоянно, но в охотку – употребляли: в зоне было много чучмеков, и потому дурь катила за валюту не хуже водки.

Неторопливо беседуя, они вытянули по косячку, открыли форточку и растопили печь, чтоб выветрить запах дури.

## 2

– Идиот, сейчас пожарные приедут, – мрачно сказал Усенко и закрыл форточку. Прохору Давидовичу полегчало.

– Подожди, я сейчас, – сказал он, с благодарностью глядя на Усенко. – Вот уж правда – Бог тебя послал. – Прохор сунул другу свои замусоленные уже повестки и бросил на плиту новую порцию бумажек. – Прости, это срочно надо.

Под потолком вспыхнул ступок древней паутины, легко прогорел и погас сам.

Усенко взглянул на повестки и принялся расхаживать по кухне взад и вперед, от окна к двери. Говорил он медленно, с перерывами, но гладко и убедительно, изо всех сил стараясь найти подходящий к моменту тон.

Все это было между ними много раз проговорено, и не от слов Фейгелю стало легче: в несчастье человеку всегда нужен другой, близкий: страх уходит.

Костер на плите утихал, распался на черные с тлеющей каймой куски; Фейгель стал возражать: «...все верно – у каждого своя жизнь, чужую не проживешь» и так далее. Но их с Усенком дело – поэзия – таково, что требует непременно согласия с собой, иначе – облом. Прохор Давидович процитировал Мандельштама о чувстве собственной правоты у поэта.

Усенко толк догоравшую бумагу черенком столового ножа.

– ...И вот, если поэзия действительно их дело, – развозил Фейгель, – не надо, значит, от жизни бежать, как предлагает Усенко – прятаться, пережидать, уезжать, – а пойти надо и послать их подальше, по совести, а там – что Бог даст. Лучше на нарах, по Мандельштаму, жить, чем на воле – по Михалкову. – Фейгель обожал формулировать.

– А вот Пушкин, Проша, на нарах не сидел, – мирно ответил Усенко. – Так ты что, точно решил, пойдешь?

Тощий, похожий на осеннюю городскую ворону Прохор выпрямился, задрал бороденку и сказал значительно:

– Да, придется.

Лицо у него было перепачкано сажей. Бабочки отпорхали свое и теперь смиренно лежали на плите, на подоконнике, на полу. Пережженная пополам веревка сбегала по стене двумя черными струйками. Правда торжествовала.

Усенко взглянул на часы и предложил, коли так, поиграть в допрос: развлечься и подготовиться; Фейгель с восторгом согласился. Борис Аркадьевич сел за стол, поставил перед собою пепельницу и развернул испачканную сажей повестку.

– Я – следователь Бондаренко, а ты – как есть – свидетель Фейгель. Начали: выйди и зайди.

Игра началась: Усенко изображал что-то среднее между Порфирием Петровичем и гестаповцем из советского фильма. То, привязываясь к каждому слову, он пытался уличить свидетеля Фейгеля во лжи, то кричал, страшно топал ногами и грозил расстрелом. Фейгель в восторге подыгрывал: следователь шил ему связь с заключенным антисоветчиком Рылевским; свидетель обвинялся в том, что за последний месяц переправил в зону радиопередатчик, пулемет и небольшую сумму в иностранной валюте. Прохор объяснял следствию, что он не в состоянии отличить радиопередатчик от мясорубки, а в доказательство вытащил мясорубку из кухонного шкапа и размахивал ею перед носом следователя, который немедленно опознал в ней тот самый радиопередатчик.

– Вот видите – значит, я в зону мясорубку отправил, – радостно вопил Фейгель; он хохотал и бил себя ладонями по коленкам, не понимая, что просто подтвердил сам факт связи с зоной.

Следователь посмотрел на часы, потом на свидетеля и неласково произнес:

– Ладно, на сегодня – всё. Идите и подумайте как следует, стоит ли вам быть пешкой в чужой игре...

Подумать как следует Прохору Давидовичу было уже некогда – времени до выхода почти не оставалось.

– Одевайся, провожу, – предложил Усенко, и сникший было Фейгель снова ожил.

Ехали они молча, а когда вышли из метро, Борис Аркадьевич сказал:

– Дальше иди один – так лучше соберешься. Удачи.

Фейгель крепко и с чувством пожал ему руку, и они разошлись: Прохор Давидович почесал вверх по улочке к кольцу, а друг его двинулся к ближайшей телефонной будке.

### 3

Вернувшись в кабинет после обеда, Сергей Федорович застал молодого коллегу спящим. Первушин полулежал в глубоком кресле, штаны его были закатаны до колен, а голые ноги он ухитрился пристроить во впадинах горячей батареи; сверху на батарее сохли его носки, снизу, подошвой к зрителю, стояли ботинки; время от времени он откашливался, не просыпаясь.

Сергей Федорович с утра уже был раздражен и хотел было сорвать злобу – растолкать, наорать, обидеть, но так мирно спал этот парень и так нелепо он выглядел, что следователь осторожно прошел мимо него и включил чайник.

За чаем Бондаренко успокоился окончательно и стал прохаживаться насчет Полежаевой. Первушин молчал и кашлял.

– Слушай, – говорил Бондаренко, жуя печенье, – а если б тебе ее по заданию трахнуть пришлось, ты как?

Валентин Николаевич отвернулся к окну и чихнул. Небо за окном было тяжелое, серое со свинцом, дождь опять сменился мокрой метелью. Монотонно жужжала лампа под потолком, голова у Первушина сделалась большой и мутной; начинался озноб, и он с удовольствием грел пальцы о стакан.

Бондаренко болтал. Об ушедшей Полежаевой и о грядущем Фейгеле, просто о бабах и о том, что надлежит с ними делать; вообще – о жизни. Валентин Николаевич с трудом удерживал выражение вежливого внимания на лице, с тоской думая, что скоро совсем расклеится и, стало быть, вечер погиб. Эх.

– Ну, Фейгель этот – тридцать три несчастья да еще совестливый, – объяснял Сергей Федорович. – А уж вокруг него – как тараканы кишат поэты, наркоманы, хипы. Вербуй кого хочешь, не промахнешься. Чуть ли не сами бегут, подцепишь – не отвяжешься: аккуратные.

Валентин Николаевич не слушал про Фейгеля. Рыжеусый начальник был не опасен, болтлив, по-своему прост, но говорил все же меньше, чем знал. Вот про задание с Полежаевой – от себя брякнул или готовит почву? Наплывала опять смутная тревога от утренней беседы с плоскорожим – не разобрать было, от чего знобит.

Сергей Федорович вошел во вкус и смачно рассказывал о кислородной карьере Фейгеля, но закончить ему не удалось: зазвонил телефон.

– Слушаю, – весело сказал он в трубку и, резко изменив тон, продолжал внушительно и официально: – Да, хорошо. На днях мы с вами обязательно поговорим лично. Всего хорошего. – И пояснил для Первушина: – Вот, друг Фейгеля звонил – задание, мол, выполнил: дома до четырех пропас и к нам отправил. Сейчас прибудет. Так-то, Валентин Николаевич: забавная у нас служба.

#### 4

После обеда Рылевский попытался заспать мигрень. Ветер улегся, и теперь в дощатой хибаре проще было удерживать тепло. Пехов упорно топил, часто выходил за дровами, и Рылевский замечал, как снаружи убывает свет и снег становится голубым, сиреневым, синим.

Боль уходила из-под век, разливалась по всей голове, теряя силу. Мучил плоский, расползающийся под затылком фофан, голова кружилась, но все ж никакого сравнения не было с острой, доводящей до исступления утренней болью.

Славно гудела печь; подле нее неторопливо чифирил Анатолий Иванович, похожий на большую темную птицу.

Грязь и развал ушли, впитались во тьму и не тревожили больше глаз. От бегающих по полу печных отблесков, от прибывающего тепла в бендежке стало уютно и почти спокойно.

Пехов часто подбрасывал и, наклоняясь, шуровал в печке, и лицо его, освещенное огнем, казалось тонким и вдохновенным.

## Вечер

### 1–2

Яркий, замешанный на болезни и духоте сон не давал отдыха. Несколько знакомых, загнанных вместе с ним в какую-то тесную комнату, не слыша и не видя друг друга, напере-

бой обращались к нему – требовали чего-то, спрашивали, кричали. Александра Юрьевна тоже просила о чем-то важном, но подойти к ней было невозможно: пространство выламывалось и выгибалось непонятным образом, и вскоре из комнаты вынесло всех, кроме него самого.

Он бесцельно бродил от стены к стене, наслаждаясь покоем, потом, догадавшись, прилип к окну. Пейзаж за окном менялся, как в диаскопе: Каменный, Петроградская, залив. За спиной хлопнула дверь; Рылевский оторвался от окна и проснулся.

– А почему не на работе? – негромко спрашивал какой-то мент.

Игорь Львович лежал неподвижно, прислушиваясь.

– От работы кони дохнут, начальник, – отвечал Пехов; кочерга звонко ударилась о печь, грохнула табуретка. – Не видишь, что ли, болеет человек, спит.

– А ты? – еще тише спросил вошедший.

– А я, – в полный голос отрапортовал Анатолий Иванович, – а я тут топлю, чтоб он досрочно не откинулся. Мне за это сверхурочные положены, начальник.

– Ладно, суток десять сверхурочных я тебе сделаю, за доблестный труд, – заорал начальник, и Рылевский понял наконец, что это отрядный. Он всхрапнул и заворочался на топчане.

– А чего пришел-то, начальник? – не унимался Пехов, хотя ясно было, что цели своей он уже достиг: Рылевский разбужен и предупрежден.

– За ним и пришел – режим вызывает.

– Да его в санчасть бы надо, начальник.

– РОР подлечит, не беспокойся, и тебя заодно. А ну, встать! Ты как с отрядным разговариваешь?..

Больше тянуть было нельзя. Рылевский надел валенки и подошел к печке, изъявляя полную готовность следовать куда угодно.

Было уже совсем темно, и низкие звезды шевелились от мороза – прожектор глушил их только подле запретки.

Кабинет РОРа представлял собой длинную узкую комнату с поносного цвета стенами и большим, нелепо поставленным поперек столом, за которым и помещался сам режим: мент ментом и ничего боле.

– Вечер добрый, гражданин начальник, – сказал Игорь Львович хриплым спросонья и простуженным голосом; вышло по-блатному хамовато.

РОР поднял глаза и указал на стул, и Рылевский, не снимая фофана, с трудом втиснулся меж стеною и коротким торцом стола.

Прямо над головой Игоря Львовича висела массивная деревяшка с резным изображением Железного Феликса работы местных умельцев; другой его портрет, стандартный, политпросветовский, располагался за спиной РОРа, на дальней стенке.

– Курите, осужденный, – бесцветным голосом произнес мент, придвигая пепельницу; на столе перед ним лежали три стопки писем. Рылевский спросил спичек, прикурил и слегка подался вперед, возвращая коробок. Этого хватило, чтобы взглянуть на конверты. Однако радоваться было рано: не известно, что потребуют от него взамен. Игорь Львович развалился на стуле и спокойно курил, всем своим видом выказывая полное безразличие к письмам, начальнику и своей собственной участи.

В комнате стоял почти неуловимый, но навязчивый запах.

Начальник не торопился с разговором; Рылевскому вспомнились почему-то восковые фигуры жандармов в Петропавловке. Если б решили когда-нибудь сделать музей «Общак-79», то мента, офицера, стоило бы лепить вот с этого: задрипанный, испитой, мутноглазый, весь – ни о чем, типаж.

Васина вело; подкурка в первый послезапойный день оказалась тяжела. Он боролся как мог с наплывающей дурнотой; в ушах звенели колокольчики, во всем теле ощущалась нехорошая легкость и пустота.

Сидевший напротив зэк казался каким-то уж слишком настоящим, массивным, тяжелым, несмотря на худобу длинного, обтянутого серой кожей лица. Желто-зеленые глаза его ни секунды не стояли на месте, бегали, обшаривали стены, стол, ощупывали мимоходом самого Васина, и он чувствовал себя тревожно и неуверенно. Осужденный же, по всей видимости, был вполне спокоен – он с удовольствием отдыхал и курил в тепле.

...В Петропавловке работал экскурсоводом один его приятель – сталинский зэк, любитель русской истории, городской чудаков, тоже в своем роде типаж; о нем, Рылевском, этот человек говорил так: «Игорь истории не делает... он просто в них попадает...» А однажды нервная пожилая дама упала в обморок, увидев выходящего из музейной камеры экскурсовода: решила, что это дух Желябова. Значит ли это, что все зэки похожи?..

Мент молчал и вообще почти отсутствовал.

...Игорь Львович спустился уже к Неве и прикрыл глаза, чтоб лучше рассмотреть и темную воду у ног, и другой берег.

...Васин заглянул в дело, коротко кашлянул и начал.

Говорить ему было трудно, он то и дело запинался, с трудом подбирая слова. Речь его сводилась к тому, что судьба осужденного находится теперь в руках лагерного начальства вообще и в его, васинских, в частности.

Преступление совершено тяжелое, срок есть срок, но и срок можно отбывать по-разному. У одних бывают свидания, передачи, поощрения, у других – ШИЗО. Вот Рылевский работать не хочет, общается только с блатными; а подумал ли он о жене, о матери – каково им будет узнать, что он лишен свидания?..

Но пока наказывать его никто не собирается, ему дают время подумать и письма ему отдают, чтоб он понял, как беспокоятся о нем родственники. Тут Васин изобразил понимающую улыбку. И не только родственники. А задержка с письмами произошла просто из-за болезни цензора. И пусть осужденный, человек умный, с высшим образованием, решит, как ему быть дальше: не пора ли встать на путь исправления.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.